

*Посвящается Скаут, Киду,
Мелкой Малышке, посвящается Кейт,
и с любовью — памяти К.Е.:
великой ценительницы языка¹.*

¹ Переводчик глубоко признателен всем, кто помогал разобраться в конноспортивном дискурсе, природных и бытовых реалиях Австралии и парадоксальном языке и образном строе Маркуса Зусака.

Особо благодарю Юлию Гайдукову, Ирину Козыревич, Дмитрия Манина, Марию Крижановскую и Андрея Шевелёва. Без их помощи ляпов в этом переводе было бы гораздо больше, а те, что все же проскочили в текст, — целиком на моей совести.

перед началом

ДРЕВНЯЯ ПИШМАШИНКА

В начале был один убийца, один мул и один пацан, но это еще не начало, это еще до него, это я, я — Мэтью, я здесь, на кухне, ночью — в полузаросшем речном устье электрического света — стучу и стучу по клавишам. В доме вокруг меня тишина.

Ну да, остальные спят.

Я у стола.

Я и пишущая машинка — я и древняя пишмашинка, как называла ее, по словам нашего давно потерянного отца, наша давно потерянная бабка. Вообще-то, она говорила «*древняя* пишмашинка», но такие завитушки — не мое. Я, мое — это синяки и хладнокровие, рост и мускулы, и божба, да редкие приступы сентиментальности. Если вы обычный человек, каких большинство, вы усомнитесь, что я два слова между собой могу связать, тем более — хоть что-то знать об эпосе или древних греках. Иногда удобно, если тебя считают тугодумом, но лучше, если кто-нибудь видит, как есть на самом деле. Мне-то повезло.

У меня была Клаудия Киркби.

Был пацан, сын и брат.

Да, у нас всегда находился брат, и это был как раз он — один из нас среди нас пятерых, — кто взвалил это на себя. Как всегда, он сообщил мне спокойно и расчетливо, и, конечно, он все передал точно. Старая пишущая машинка была зарыта на заднем дворе в одном сплошь-задний-двор-городишке, но мне

нужно было точно отмерить расстояние, иначе я мог бы вырыть вместо нее мертвую собаку или мертвую змею (что я и сделал — и ту и другую). Я сообразил, что раз собака оказалась там и змея тоже, то и машинка где-то рядом.

Это был идеальный не-пиратский клад.

Я отправился в путь на следующий день после собственной свадьбы.

Прочь из города.

Ночь в пути.

Сквозь бесконечную пустыню — и еще немного пустыни.

Сам городишко возник будто четкий силуэт дальнего Диснейленда: его было видно издалека. Имелись и соломенный пейзаж, и марафон небес. А вокруг, обжимая, дикие заросли низкого кустарника и эвкалиптов; и это оказалась правда, правда, черт подери: люди сутулились и горбились. Этот мир их изнурил.

Возле банка рядом с одним из многих пабов женщина объяснила мне дорогу. Женщина с самой прямой в этом городе спиной.

— Свернете налево по Турникет-стрит, так? Потом прямо, где-то метров двести, и снова налево.

Темно-русая, хорошо одетая, в джинсах и ботинках, красной рубашке без рисунка, один глаз сильно щурится на солнце. Только одно ее выдавало: перевернутый треугольник кожи, там, под горлом: усталой, старой, потрескавшейся, как ручка кожаного баула.

— Ну, вы поняли?

— Понял.

— А какой дом-то, вообще-то, нужен?

— Двадцать три.

— А, так вы стариков Мерчисонов ищете?

— Ну, сказать по правде, вообще-то не их.

Женщина подошла поближе, и тут я разглядел ее зубы, какие они ослепительно-белые-но-притом-желтые: так похожие на самодовольное солнце. Она подошла, а я протянул руку, и вот я, вот она, ее зубы и городишко.

— Меня зовут Мэтью, — сказал я, а женщина назвалась Дафной.

Я уже был у машины, а она развернулась от самого банкомата и подошла ко мне. Она даже карточку там забыла и вот встала передо мной, руки в боки. Я уже почти влез за руль, и тут она кивнула и узнала. Она знала почти все, как женщина, читающая новости:

— Мэтью Данбар.

Она не спрашивала, она утверждала.

Вот так я оказался в двенадцати часах езды от дома, в городишке, куда за все мои тридцать один год и нога моя ни разу не ступала, а здесь меня в каком-то смысле все ждали.

Мы долго смотрели друг на друга, по меньшей мере несколько секунд, и все было широко распахнуто. Появлялись люди, куда-то брели мимо.

— Что вам еще известно? — спросил я. — Вы знаете, что я приехал за пишущей машинкой?

Она открыла второй глаз.

Не убоившись полуденного солнца.

— Пишущей машинкой?

Вот теперь я ее огорошил.

— Ни черта не понимаю!

И будто по сигналу какой-то старик принялся орать, не ее ли это сраная тачка перегородила к свиньям все движение возле сраного банкомата, и женщина метнулась отогнать машину. Может, я и смог бы объяснить, что во всей этой истории была и старинная пишмашинка — в те дни, когда в докторских приемных печатали на машинках и секретарши ба-

рабанили по клавишам. Было ли ей интересно, я теперь уже не узнаю. Но знаю, что ее указания были точными.

Миллер-стрит: бесшумный конвейер небольших, скромных домиков, выпекающихся в зное. Я вышел из машины, хлопнул дверцей и пересек хрустящую лужайку.

Вот примерно в ту минуту я пожалел, что не позвал с собой девушку, которую только что взял в жены — или, вернее, женщину, мать двух моих дочерей, — и, конечно, дочерей тоже. Деткам бы здесь понравилось, они бы тут гуляли, прыгали, танцевали: мелькающие ноги, солнце в волосах. Они бы прошлись по лужайке колесом с воплями: «И не смотри на наши трусы, понял?»

Да уж, медовый месяц.

Клаудия на работе.

Девочки в школе.

Конечно, где-то внутри мне это нравилось; да вообще это мне здорово нравилось. Я глубоко вздохнул, выдохнул и постучал.

* * *

В доме было как в печи.

Вся мебель обжарилась.

Картинки будто только из тостера.

Кондиционер у них был.

Но сломался.

Чай и крекеры, а солнце крепко плещет в окно. Пота к столу было в избытке. Капал с запястья на скатерть.

Мерчисоны оказались честной деревенщиной.

Мужчина в синей майке и с пышными бакенбардами, будто прицепил к щекам вырезанные из шубы мясницкие тесаки, и женщина по имени Рейлин.

У нее были жемчужные сережки, мелкие кудряшки и сумочка в руках. Она все собиралась в магазин, но никак не уходила. С того мгновения, как я упомянул задний двор и заметил, что там может быть что-то зарыто, ей понадобилось задержаться возле нас. Чай был выпит, от крекеров остался один обломочек, и тогда я посмотрел на меховые тесаки в упор. Мерчисон сказал мне просто и прямо:

— Думаю, пора за дело.

Оказавшись на длинном сухом дворе, я сделал несколько шагов налево, к сушильному столбу и облезлой умирающей банксии. На мгновение я оглянулся назад: маленький домишко, жестяная крыша. Солнце по-прежнему заливало его, но уже шло вниз, клонилось к западу. Я орудовал лопатой и руками — и докопался.

— Проклятье!

Собака.

Что-то еще.

— Проклятье!

Змея.

Обе — только голые кости.

Мы очистили их тщательно и осторожно.

Положили на траву.

— Ну и дела!

Старик воскликнул так трижды, но громче всего — когда я наконец нашел тот старый «Ремингтон» серо-стального цвета. Оружие в земле, он был так туго умотан в три слоя толстой пленки, что были видны буквы на клавишах: первые Q и W, затем F и G в середине и, наконец, H и J.

Сначала я стоял и смотрел; смотрел, и все.

Эти черные кругляши, как зубы чудовища, но дружелюбные.

Наконец я наклонился и вытянул машинку из земли осторожными грязными руками; засыпал все

три ямы. Машинку мы развернули, оглядели и присели на корточки, чтобы изучить получше.

— Мировая штука, — заметил мистер Мерчисон. Меховые тесаки затрепетали.

— Вообще! — согласился я: машинка была шикарная.

— С утра ничего такого не предвиделось.

Он поднял машинку и передал мне.

— Не хотите остаться на обед, Мэтью?

Это предложила старушка, еще не вполне опомнившаяся от изумления. Но изумление не отменяло обеда.

Не поднимаясь с корточек, я поднял на нее глаза.

— Спасибо, миссис Мерчисон, но я столько крекеров съел, что мне худо.

Я вновь окинул глазом домик. Теперь он был обернут и увязан в тень.

— Мне вообще-то пора ехать.

Я пожал руки обоим.

— Не знаю, как вас благодарить.

Я зашагал к дому с добычей в руках.

Мистер Мерчисон на такое не согласился.

Он остановил меня решительным «Эй!».

И что мне оставалось?

Наверное, имелась веская причина вырыть этих двух животных, и я, остановившись под сушильными вешалами — старым потрепанным столбом-зонтиком, точно как у нас — обернулся и ждал, что же скажет старик; и он сказал:

— А ты ничего там не забыл, приятель?

И кивнул на собачьи кости и на змею.

Вот так я и поехал прочь.

На заднем сиденье моего старенького универсала лежали в тот день собачьи кости, пишущая машинка и ажурный костяк королевского аспида. Примерно

на полпути я остановился. Я знал там одно место — небольшой крюк, можно нормально поспать в кровати, — но решил не заезжать. Вместо этого я лежал в машине со змеей у горла. Проваливаясь в сон, я думал о том, что доначальное — повсюду: потому что прежде и еще прежде многих и многих событий жил-был мальчик в этом сплошь-задний-двор-городишке, и он упал на колени, когда змея убила собаку, а собака убила змею... но обо всем этом я еще расскажу.

Нет, все, что вам сейчас нужно знать: домой я добрался на следующий день.

Приехал в город, на Арчер-стрит, где все началось и продолжалось — многими и разными путями. Спор о том, какого рожна мне было везти домой собаку и змею, рассосался несколько часов назад, и те, кому надлежало уйти, ушли, а те, кто должен был остаться, остались. Последним штрихом стала перепалка с Рори о грузе на заднем сиденье. С Рори, ни с кем иным! Он не хуже любого другого знает, кто мы, и что мы, и зачем:

Семья обветшала трагедии.

Комиксовый «бабах!», внутри которого — пацаны, кровь и зверье.

Да мы созданы для таких реликвий.

В самый разгар препирательства Генри ухмыльнулся, Томми рассмеялся, и оба сказали: «Ну как всегда!» Четвертый из нас спал и спал все время, пока меня не было.

Что до моих девочек, то они, войдя в комнату, подивились костям и сказали:

— Папа, зачем ты их принес?

Потому что дебил.

Я поймал Рори на том, что он тоже так подумал, но вслух никогда бы не сказал этого при моих детях.

Что до Клаудии Данбар — урожденной Клаудии Киркби, — то она покачала головой и взяла меня за

руку, и была довольна, настолько, черт меня возьми, довольна, что я опять мог сорваться. Не сомневаюсь, это потому что я был рад.

Рад.

Глупое вроде слово, но я пишу и рассказываю вам все это только потому, что именно таковы мы и есть. А я особенно, потому что я люблю эту нынешнюю кухню со всей ее великой и ужасной историей. И писать буду здесь. Уместно делать это здесь. Я рад слышать, как мои записки барабанят по странице.

Передо мной древняя пишмашинка.

Дальше, позади нее, — исцарапанная деревянная степь стола.

Там стоят разномастные солонка и перечница и лежит банда упрямых крошек от тостов. Свет из коридора желт, а здесь свет белый. Я сижу, думаю и стучу здесь. Колочу и колочу по клавишам. Писать всегда трудно, но легче, если есть что сказать.

Я расскажу вам о нашем брате.

Четвертом из ребят Данбаров по имени Клэй.

Все это случилось с ним.

И через него изменились мы все.

часть первая

ГОРОДА

портрет убийцы в образе мужчины средних лет

Если до начала (в тексте, по крайней мере) были пишущая машинка, собака и змея, то уже в начале — одиннадцать лет назад — были Убийца, мул и Клэй. Однако даже в начале кто-то должен выйти первым, и в тот день это мог быть только Убийца. В конце концов, именно он заставил всё двинуться вперед, а мы все смотрели назад. Он сделал это своим появлением. Он пришел в шесть часов.

Вообще-то, момент был вполне подходящий: очередной волдырчатый февральский вечер, день испек бетон, солнце еще высокое и болезненное. За это пекло можно было держаться и от него зависеть, или, вернее, оно держало *его*. В истории всех убийц по всему свету этот был, несомненно, самым жалким: среднего роста, пять футов десять дюймов, семьдесят пять кило, нормальный вес.

Но не сомневайтесь — это был пустырь в пиджаке; согнутый, переломленный. Он наваливался на воздух, будто надеясь, что тот его прикончит, да только безуспешно: не сегодня, ведь довольно неожиданно оказалось, что сейчас — не тот момент, чтобы делать одолжения убийце.

Нет, сегодня он это чувствовал.

Чуял носом.

Он бессмертен.

Что, в общем, подводит черту.

Будьте уверены, Убийца неубиваем — именно в тот момент, когда ему лучше всего быть мертвым.